



О вреде диссертаций для политической теории

Ольга Серебряная



АРТЕМИЙ МАГУН. *Отрицательная революция. К деконструкции политического субъекта*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. 416 с.

Книга Артемия Магуна, доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге и Смольного института свободных искусств и наук, вышла в самом начале лета. Выходу ее была посвящена грамотно организованная, даже блистательная презентация в Европейском. По моим оценкам — в коих я не сильна, так что возможность ошибки признаю сразу, — присутствовали на ней человек двести. Для события академически-философского цифра поразительная. Речи выступавших тоже поражали: редкой для академических заседаний осмысленностью, в то время как подбор спикеров объективно отражал раскладку живых и ярких, с одной стороны, и реально действенных, с другой, гуманитарно-философских сил нашего города. То есть имело место экзemplярное событие, по описанию которого в мемуарах будут лет через семьдесят воссоздавать интеллектуальную атмосферу Петербурга первого десятилетия XXI в. В мемуарной будущности события сомнений не было. Оставался вопрос, какую роль будет играть в этих мемуарах виновница торжества, четырехсотстраничная «Отрицательная революция». Интрига происходившего и какое-то подспудное величие книги (ведь все пришли и прилежно слушали, хотя книгу на тот момент почти никто не читал) затаили меня настолько, что я — пользуясь своими разнородными знакомствами — буквально вытянула из издателей рецензионный экземпляр.

Роман с книгой у меня не сложился. Мой изначально позитивный читательский порыв увяз в районе двухсотой страницы. Бросив чтение на половине, я решила подождать других рецензий и уехала отдыхать. В конце июля в «РЖ» вышел отзыв Дмитрия Кралечкина, он был перегружен скрытыми и явными издевками, пестрел намеренно усложненной терминологией, однако содержание книги для публики не излагал, и дочитать его до конца я тоже не смогла. Реакции в блогах, опять же, демонстрировали избыток эмоциональности, от уничтожительного стеба до открытой ругани. Впрочем, обсуждения этих реакций в среде, близкой к автору, тоже особой предметностью не отличались. Осенью в «НЗ» опубликовали вторую рецензию, Ивана Болдырева. Ее я дочитала, но о чем книга и как ее рецензент оценивает тоже не поняла. Пришлось вернуться к первоисточнику ни с чем. Забавно, но вторую половину книги Магуна я проглотила за пару дней с большим интересом. Она мне понравилась.

Теперь придется разбираться с двумя феноменами сразу: как с самой книгой, так и с вызванными ею неакадемичными реакциями. Я полагаю, что оба феномена, при всей их разнородности, порождены странным состоянием россий-



Константин Батынгов. Из серии «Дон Кихот», 2007.

ской академической философии и восприниматься должны исключительно как ее плоды.

Чем же публикация Магуна так сильно выделяется на фоне общей академической практики? Во-первых, принципами редакции. Во-вторых, способом перевода. В-третьих, масштабом подачи. Именно эти три момента и обусловили столь эмоциональный режим восприятия книги, проблематика и методология которой достаточно типичны для нашего поколения, как, впрочем, и круг цитируемых авторов.

Начну с книги. Ее внутренний интерес или экзистенциальный замах — в том, чтобы показать, что формативная для нашего поколения перестройка и последовавшая за ней эпоха либеральных реформ были революцией. Чтобы снять очевидные противоречия между случившимся в России на рубеже 80-х и 90-х гг. и усредненным понятием революции, автор вводит собственное понятие негативной революции, демонстрируя, что оно работает также и в приложении к экземплярной для всех и каждого Великой французской революции. Потребность в такой демонстрации мне понятна: трудно осмысленно жить дальше, не дав себе отчета в политическом опыте нашего поколения, не примирив хотя бы в собственном уме ощущение освобождения, испытанное

в конце 80-х, абсолютную политическую апатию середины 90-х и глубокую фрустрацию 2000-х. Сделать это сегодня необходимо и для того, чтобы занять определенную политическую позицию: без соотнесения с пострестроечным опытом поколение нынешних 30-летних теряет всякую самоидентификацию.

Магун предлагает следующую интерпретацию: революция имеет характер разрыва исторической обратимости, некоторой точки, за которую вернуться уже невозможно. Причем точка эта сама по себе тоже в некотором роде невозможна. Понимая революцию как уничтожение старого и учреждение нового, мы впадаем в парадокс самоучреждения: учреждающая новая политическая общность сама оказывается неучрежденной. Преодолеть этот парадокс можно двояко. Один из способов, гегелевский, Магун полагает неубедительным (в чем я — в качестве голоса того же поколения — совершенно с ним согласен). У Гегеля революция завершает линию формообразований духа чистым отрицанием и сама становится «возвышеннейшим образованием», снимая все предыдущие и основывая свободный и бесконечный субъект, Государство-субъект. В нем все превзойденные формы существуют уже в снятом виде. Это ход классический. И отбрасывается он попросту потому, что нашему опыту не соответствует.

Неклассический же требует введения особого понятия негативности, с помощью которого удастся показать,

что присущий революции характер отрицания не позитивизирует отрицаемое в наличном результате, а наделяет его особым статусом, позволяющим и даже принуждающим учрежденный революцией субъект вновь и вновь обращаться к (недо)уничтоженному революцией. Обращение это имеет миметический характер, разыгрывается в некотором сценическом пространстве, посредством чего достигается катарсис, дающий возможность жить дальше, ощущая себя в горизонте возможностей, открытым негативным событием революции. Что в переложении на наши реалии означает неизбежность постоянно повторяющегося возвращения к негативной революции конца 80-х, продолжение политического ориентирования и возможность дальнейшей политической истории.

В этом основной сюжет книги. Средства, которыми осуществляется кратко описанная мной интерпретация, не настолько классичны, чтобы оставить их без дальнейших разъяснений, но и не настолько новы, чтобы их нельзя было расписать по авторам. Так, «особое понятие негативности» Магун берет из проводимого в кантовской докритической работе «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин» (1763) различия между *nihil negativum* и *nihil privativum*, затем вводит его в контекст



кантовской же философии истории, изящно связывая эту дифференцию с темой революции посредством интерпретации двух небольших фрагментов, которые Кант посвятил французской революции. Прописанное в кантианских терминах понимание прописывается затем с некоторыми изящными вариациями в терминах психоанализа и затем в третий раз в терминах «трагедийной логики» (с обязательной цитатой из «Поэтики» Аристотеля) при анализе книги Ханны Арендт «О революции». Поскольку кантианское переложение оказалось для меня наиболее внятными и естественно совпадающим с моей собственной философской образованностью, кратко изложу именно его, чтобы окончательно прояснить мысль автора.

Итак, отрицание может быть логическим и реальным. Воспользуюсь примерами автора: суждение «кошка не вошла в эту комнату» имеет своей парой «кошка вошла в эту комнату», и если одно из этих суждений истинно, то второе будет ложным, имея в качестве своего коррелята *nihil negativum* или логическую невозможность. При этом суждение «кошки нет в комнате» можно трактовать и в том смысле, что она там была, но уже оттуда вышла, т. е. присутствует в комнате в качестве негативной величины (*nihil privativum*). Далее это различие внедряется уже в критическую философию Канта: Магун переназывает трансцендентальные идеи разума из регулятивных в негативно-привативные, демонстрируя «призрачный» характер их бытия, а затем напоминает о практической важности этих призраков в человеческой жизни: в субъективном плане идеи высшего блага и Бога необходимы для определения направления *свободных* действий в *природном* мире. Прочитав через негативность идеи разума, Магун вводит ее в контекст философии истории через отрывок из «Спора факультетов». Напомню, что, постулировав в виде (регулятивной) цели истории реализацию всех данных человеку задатков, а в качестве необходимого для ее достижения политического условия вечный мир, Кант ничего не может сказать о ходе такой реализации, поскольку феноменальная история исследуется в цепи причинности, а не в цепи задающей ее нацеленность свободы. Однако в «Споре факультетов» Кант утверждает все же, что исходя из феноменальных данных человечество продвигается к осуществлению своей цели. Свидетельство тому — французская революция, вскрывшая в человеческой природе задатки к совершенствованию. Значимость ее столь огромна, что она не будет забыта, и постоянно возобновляемое обращение к ней оставит в будущем след в душах всех людей. Этот отрывок дает Магуну удачное основание для описания кантовской истории как постоянного обращения к мнемоническому знаку революции (т. е. привативной негативности), каковое описание подкрепляется в дальнейшем анализом опыта возвышенного в третьей «Критике».

Теперь, когда основная мысль книги в общих чертах изложена (я намеренно ради сохранения сюжетности выделила лишь то, что показалось мне основным), можно вернуться к моему исходному вопросу: так откуда же весь сыр-бор? Ничего способного пробудить сильные эмоции в книге нет. Она свидетельствует о широкой и стандартной для нашего поколения философской образованности, т. е. о том, что автор вполне заслуженно получил на основании этого текста докторскую степень. Чего же боле?

Почему, наконец, я так долго не могла ее прочитать? ФИЛОСОФ

Причин, как я уже указала, три. Начнем по порядку. Принципы редактуры. Книга склеена из двух диссертаций. На основании одной, написанной по-английски, автор получил PhD in political science в Мичиганском университете — она открывает книгу. Вторая (написанная по-французски) диссертация философская. Собственно, ее я и прочитала с интересом (когда до нее добралась). Склеены они следующим образом. Книгу открывает авторское вступление (к нему я еще вернусь), разъясняющее основной посыл книги и знакомящее читателей с ее особенностями. Затем следует серия из трех введений: манифеста, методологического введения и историко-понятийного введения. В манифесте кратко излагается общее содержание

ФОРМАТИВНАЯ ДЛЯ
НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ПЕРЕСТРОЙКА И ПОСЛЕ-
ДОВАВШАЯ ЗА НЕЙ ЭПОХА
ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ
БЫЛИ РЕВОЛЮЦИЕЙ

книги, причем изложение это задевает термины, разъяснение которых обнаруживается впоследствии в районе трехсотой страницы. То есть введение это и вправду представляет собой манифест: понять из него толком ничего не возможно. Историко-понятийное введение вообще присутствует для вящей важности, ибо пересказывает совершенно незначимые для основного сюжета исторические превращения понятия по словарю Козеллека, а также глубокомысленно трактует о смысле приставки *re-* и корня *volvo*¹. Затем следует введение в политологическую диссертацию, которое помимо воспроизведения и так знакомых российскому читателю реалий революции конца 80 — начала 90-х воспроизводит еще и доводы, уже изложенные в предыдущих введениях: на с. 23 автор обращает наше внимание на школу ревизионистских историков французской революции, а на с. 54 еще раз обращает наше внимание на эту школу, а когда дело-таки доходит (на с. 92) до обсуждения взглядов этой школы, она произвольно воспринимается читателем как давно навязшая в зубах диссертационная фитюлька. И это не считая того, что каждая глава, раздел и подраздел, как и полагается в диссертациях, снабжены собственными введениями и заключениями. То же самое происходит в книге и с цитатами: выражение Сен-Жюста «мир опустел после римлян» цитируется в книге раз шесть или семь, что при всей его значимости для подтверждения мысли автора все же многовато. Причем лишь на с. 359 выясняется, что изначально эту фразу в связи с темой революции цитирует даже не Магун, а Ханна Арендт. Опустевший после римлян мир заполняет столь же обильно цитирующийся «бурный поток революции» из последней речи Робеспьера. Когда же политологическая диссертация подходит к концу (обставленному всеми надлежащими выводами и повторами), с повторов же начинается диссертация философская. Поэтому невинно оброненное на с. 187 «я уже упоминал

¹ Это разрастание до многостраничных размеров присущей нашему поколению лояльности к хайдеггеровским этимологиям способно довести до гнева даже самого благожелательного читателя. Я понимаю, что ничто не запрещает в композиционных целях сыграть на значении приставки *re-*, однако посвящать ей особый раздел — это уже либо непонимание места этимологии в философском письме (чисто вспомогательного), либо откровенный строкаж. Однако в чем его необходимость, если книга и так очень длинная?



«Волне интереса к работам ревизионистской школы историков» у внимательного читателя вызывает нечто близкое к озверению, тем более что далее во второй раз «кратко излагается» аргументация историков. То есть я понимаю, что Артемий Магун совершенно legitimately использовал наброски своей первой диссертации во второй, но почему в этом приходится разбираться читателю *его книги*?

Добравшегося до конца философской диссертации читателя ожидает бонус. Четвертая глава целиком посвящена разбору книги Ханна Арендт «О революции» — и она тоже начинается с введения. Я не знаю, чем изначально был этот текст, возможно, курсовой работой по соответствующему семинару в одном из оконченных автором университетов. Он, в общем-то, даже связан с книгой тематически, если понимать тему в музыкальном смысле — как время от времени возникающее на изменчивом фоне повторение знакомой мелодии. Арендтовский бонус даже образует оправдательную для книги коду: он завершается известными словами Гельдерлина о поэтах — они, мол, «утверждают то, что остается» (после революции). Вот автор провернул нам революцию во всех ее возможных мыслительных повторах, а должной компоновкой книг пусть занимаются дальше литературные работники. И все бы ничего, но после столь удачной коды следует еще одно заключение.

Итак, редактора книги строится по принципу приращения. А построение диссертации, как и водится в диссертациях, по принципу сюжетно размещенных пересказов. Читатель, соответственно, обречен метаться между нагроможденными друг на друга введениями и отвечающими друг от друга пересказами (часть из которых ему до боли знакомы, поскольку являются общим местом учебного философского письма), пока не найдет какой-нибудь один внятный для себя пересказ, открывающий весь секрет композиции. У флегматичных читателей такое обращение вызывает скуку. У темпераментных — ярость. Это раз.

Второе: принципы перевода. Обе диссертации написаны на иностранных языках. Случай в нашем поколении нередкий. Перевод автором иноязычной диссертации для последующей публикации в России — случай тоже типичный. Но вот перевод диссертации, поддержанный отдельным грантом и выполненный сторонними людьми (один из которых к тому же известный переводчик, доктор филологических наук и профессор С. Л. Фокин) — вещь неслыханная. О чем это говорит? О прочной институциональной укорененности автора. В смысле академических институций у него все очень хорошо, иначе фонд Эндрю Гагарина не выделил бы на поддержание его академической карьеры (для чего, очевидно, и нужна столь весомая книга) круглой суммы. Переводчики, впрочем, дело свое выполнили профессионально: скудость языка, которой неизбежно грешат все написанные иностранцами диссертации, блестяще передана по-русски. Скажем, единственным прилагательным, с помощью которого автор кого-то хвалит, оказалось прилагательное «проницательный».

Прочную институциональную укорененность подтверждает и первое введение: книга, посвященная одной знаковой фигуре российского философствования Владимиру Бибахину, во введении допосвящается второй знаковой фигуре — Филиппу Лаку-Лабарту (оба они случились быть непосредственными учителями автора). После чего следу-

ет список из 34 имен, носителям которых автор благодарен. Среди них упомянуты Славой Жижек, Жан-Люк Нанси, Ирина Прохорова (сразу за Валерием Подорогой), круг непосредственных начальников Магуна из Смольного и Европейского, а также Игорь Чубаров (почему-то два раза).

И все бы ничего. Автор эффективно и успешно строит академическую карьеру и демонстрирует свою влиятельность в российской и международный научный истеблишмент. Пожелаем же ему успеха и оставим с миром. Но не тут-то было. Ведь книга при этом подается не как академическая монография. Она презентуется как публичное событие. При наличии в Петербурге двух с половиной институций, в которых изучается философия, появление двух сотен людей на презентации говорит не только об умелом использовании академических рычагов для самопиара, но и о наличии определенного запроса этого петербургской публики. Запрос же этот был сформирован не академической, а политической деятельностью автора. Наибольшую известность получили политические выступления Артемия в связи с закрытием Европейского

университета в Санкт-Петербурге. Когда временное закрытие одной академической институции грозило оставить без работы больше половины интеллектуалов города, Магун громко заявлял о политическом подтексте этого дела. Когда же мобилизованная его деятельностью публика пришла на презентацию за своей долей политической теории, ей вручили небрежно сработанный академический продукт, явно неготовый к публичному потреблению.

При обсуждении в блогах кто-то назвал предложенную Магуном интерпретацию революции богемной. Мне эта характеристика показалась точной, с той лишь разницей, что я бы восприняла ее как похвалу. Действительно, если и есть сейчас сколько-нибудь определенный слой людей, готовых рассуждать о революции в предложенных Артемием терминах, то это именно богема, т. е. свободные от государственной службы и конвейерного труда люди, имеющие физическую и умственную свободу подумать. Но, к сожалению, ничего, кроме старательной служебной работы, выполненной сотрудником государственного университета¹, Артемий Магун на их суд представить не смог. Получается, что политическая теория затрагивает автора ровно настолько, насколько она обеспечивает ему прочное место в государственной и негосударственной системах образования.

Отсюда и неоправданная эмоциональность восприятия книги, с описания которой я начала. С одной стороны, грубые псевдоакадемические придирижки лично не знакомых с автором профессиональных философов (стабильность академической профессии у нас гарантируется только разветвленной системой друзей, о которых, как о мертвых, можно говорить только хорошее, и столь же определенной системой врагов, которых ругать нужно отчаянно и темпераментно). С другой же стороны, раздражение от несовпадения действительного содержания книги с ожиданиями свежего, стройного и внятного публичного суждения. ■

¹ Смольный институт, где работает автор, формально является отростком спбгу, а все его сотрудники числятся на какой-то одной, специально выделенной для этих целей, кафедре филфака.